

Леонид ЮЗЕФОВИЧ

Родился в 1947 году в Москве, детство и юность прожил в посёлке Мотовилиха в Перми. В 1970 году окончил филологический факультет Пермского университета, служил в армии в Забайкалье, работал учителем истории в разных школах. Защитил кандидатскую диссертацию по русскому дипломатическому этикету XV–XVII веков.

Автор романов, а также историко-документальных книг. Лауреат премий «Национальный бестселлер» (2001, 2016) и «Большая книга» (2009, 2016, 2021). Произведения переведены на немецкий, итальянский, французский, польский, болгарский, сербский, испанский языки.

Живет в Москве и Санкт-Петербурге.

ПЕВЧАЯ ПТАШКА И ТРИ ЕЕ МУЖА

Главы из книги

Не могу сказать, что моя книга, несколько глав из которой я предлагаю читателям «Нижнего Новгорода», готовится к печати – я только что ее закончил и пока еще никому не показывал, кроме жены, дочери и сына. Это документальная, без вымысла и сочиненных диалогов, но с некоторыми оговоренными допущениями, повесть о моей двоюродной бабушке, младшей сестре моего деда, довольно известной в свое время петербургской эстрадной певице и танцовщице 1910-х гг. Бэле Георгиевне Казарозе-Шенишевой. Она играла в театре «Дом интермедий» у Мейерхольда, пела песни на стихи Михаила Кузмина и Надежды Тэффи. Первым ее мужем был инженер Виктор Шнырев, один из строителей единственной в дореволюционной России электрифицированной железной дороги, вторым – замечательный художник Александр Яковлев, в 1917 году уехавший в Китай и умерший в Париже, третьим – Николай Волков, театровед и автор либретто к популярным советским балетам «Бахчисарайский фонтан», «Спартак» и др. Моя героиня вскрыла себе вены в 1929 году, в возрасте 35 лет. Четверть века назад я сделал ее прототипом героини моего романа «Казароза», но подлинная, яркая и не очень счастливая жизнь этой женщины интереснее любых ее литературных преломлений.

Л. Ю.

Яковлев ехал в Пекин вагоном II класса. На Транссибирской магистрали и КВЖД они были не такие, как в европейской России, более комфортные, с просторными купе на два спальных места, с тремя уборными на вагон и столиками в коридоре для чтения и игры в шахматы. В Чите поезд свернул на юг, пересек китайскую границу возле станции Маньчжурия и меньше чем через двое суток прибыл в Пекин. Здесь Яковлева с его верительными грамотами от Академии художеств

поселили в «посольском доме» на территории посольства. Оно располагалось на респектабельной Лигейшн-стрит и представляло собой роскошную усадьбу с гравийными дорожками среди газонов и клумб, изящными скамейками, беседками в форме пагод под сенью пальм, туй и кипарисов, теннисным кортом и находившимися в главном здании рабочими кабинетами с прохладной даже в летнюю жару кожаной мебелью.

Скоро Яковлев познакомился со всеми видными членами русской колонии. Во взятом напрокат фраке или смокинге он посещал официальные обеды и приемы в других дипломатических миссиях, но чаще бывал в посольствах той всемирной империи, чье подданство они с Шухаевым и Казарозой приняли на Галерной. Самое сильное его увлечение этих месяцев – Пекинская опера, и тут доктор Дапертутто понял бы своего Арлекина лучше многих. В то время, как заметил Зноско-Боровский, он тоже обратил взгляд на Восток:

Мейерхольд приходил к сознательной условности и символизму восточного театра, китайского и японского. Там, чтобы изобразить гору, ставят два стула, один на другой, лодку – четыре стула рядом, спинками к публике, и «бутафор» все время присутствует на сцене, но публика не замечает его, поглощенная сущностью разыгрываемого представления. Есть поэтическая и глубокая символика в том, как умирающий философ ложится на землю и накрывается простыней и, умерев, подымается по лестнице, возглашая: «Теперь я выше холода земли», – или в том, что опускается красный флаг в тот момент, когда меч рубит голову.

Яковлев, по его признанию, понимал, что экзотика «дает слишком большую, слишком богатую пищу с точки зрения материала для картины, настолько богатую, что теряешь серьезность глубокого анализа, начинаешь невольно делаться иллюстратором». Тем не менее как портретист и физиогномист он сумел многое сказать о китайском театре, не впадая в этнографизм и не изменяя своей музе: на лучших его полотнах этого периода – «Мужская ложа Пекинской оперы» и «Женская ложа Пекинской оперы» – изображены не актеры на сцене, чья мимика отчасти скрыта под маской из грима, а зрители с написанными на их лицах переживаниями.

Китаист Василий Алексеев высоко ценил китайские работы Яковлева, но отмечал, что нередко он дорисовывает такие вещи, каких в действительности не было и быть не могло в изображаемом им месте. В этом суть его мастерства: он отступал от действительности не во имя идеи, как Рерих, а ради более гармоничной композиции, соразмерности частей.

Летом 1918 года по первой железной дороге, построенной китайцами без помощи европейских инженеров, он прибыл в Калган, торговый город на границе Внутренней и Внешней Монголии, в двухстах верст от Пекина. С забайкальским казаком из бурят, ставшим его гидом и переводчиком, Яковлев добрался до ближайшего к Калгану крупного буддийского монастыря на озере Долон-Нор, а затем два месяца ездил по степи, ночевал в юртах. До него ни один европейский художник не пытался запечатлеть кочевников-буддистов в их родных местах, понять их психологию, их отношение к миру. «В Монголии – ряд акварельных набросков, впечатлений, взятых с седла лошади», – писал он Кардовскому, но рисунки лам и «вождей монгольского народа», как назван один из его графических листов, свидетельствуют, что «с седла» – это образное выражение.

Николай Рерих, проезжая по тому же культурному ареалу, рисовал космически-пустынные пейзажи Центральной Азии, апокалиптические закаты, ступы, одинокие храмы среди скал, мифологических, как Гэсэр,

или условно-поэтических, как «мать Чингисхана», эпических героев, а Яковлев – современников. Никакой архитектуры, минимум природы. Главное – лица. Монголы для него, как и китайцы, и японцы, не представители азиатских наций, но такие же люди, как русские и французы, интересные своей человеческой сущностью, а не набором случайно доставшихся им национальных признаков. Тит Лукреций Кар в поэме «О природе вещей» впервые, наверное, в мировой литературе сказал, что различия между народами преувеличены, главное желание у всех одно – растить детей и «кормить их лучшей пищей». Эти слова Яковлев мог бы взять эпиграфом к своей ориентальной живописи.

Между тем деньги кончились, а обещанная стипендия так и не поступила: в апреле 1918 года Академия художеств была упразднена декретом правительства РСФСР вместе с Министерством двора, которому она подчинялась. Яковлеву пришлось влезть в долги. «Очень трудный первый год в Пекине без денег и заработка, – вспоминал он потом в письме Кардовскому. – Работал много, жизнь часто очень одинокая. Особенно морально. Отношение ко мне русской колонии, говорить нечего, было исключительно хорошее, но трудно рассчитывать встретить на Дальнем Востоке тонких по художественному развитию людей».

Обо всем этом Яковлев мог писать Казарозе, а еще – о том, что скучает по ней. Так бывает с мужчинами, когда они оказываются в тюрьме, в казарме, на чужбине, и остывшая вроде бы любовь к жене вспыхивает с новой силой. Письма мужа до нее доходили, Софья Петровна рассказывала о них Бенуа. После революции выяснилось, что самый прочный бастион Российской империи – почта: она продолжала работать, когда обрушились другие государственные институты. Даже в годы Гражданской войны, через линии фронтов, письма каким-то чудом доставлялись адресатам, а в начале 1918 года масштабные боевые действия в Сибири еще не велись. Две-три недели – достаточный срок, чтобы письмо из Китая по железной дороге добралось до Петрограда. Посольские знакомые Яковлева могли ему в этом помочь.

В письмах он давал себе больше свободы, чем в устной речи. Его дневники, если и были, не сохранились, но у него, как потом обнаружится, была потребность остановить свои пекинские мгновения не только в красках. Может быть, он тогда писал жене что-то из того, о чем напишет в предисловии к изданному двумя годами позже, в Париже, альбому его восточных работ:

Я поднялся на стену возле башни Ченг Мен и оттуда созерцаю город. На севере простирается городище Манчу, там, в таинственном холоде, растушеванной краской проступают пурпурные стены и золотые крыши дворцов. Над китайским городом сплетенье бесчисленных легких дымов, рассеченных и поделенных на куски лучами света... Это дыхание города, пробужденного утром. Солнце рождает в нем звуки, которые трепещущими движениями стремятся заполнить пространство, прорваться в толщу теней. Шумы, поначалу едва слышные, вырастают, наливаются силой. Теперь я различаю звон медных тарелок бродячего брэдоброя, пронзающие недвижный воздух взвизги точильного камня на ободу острого лезвия ножа; крик носильщика долетает в ритме жалобного заклинанья. И все эти звуки в набирающих яркость желтых и синих лучах рассвета сплетаются меж собой, сливаются в многоголосые хоры*.

За окнами нетопленной квартиры на Васильевском острове открывались картины куда менее волшебные.

* Перевод Бориса Носика.

В начале марта 1918 года Казароза очутилась в Екатеринодаре, но сомнительно, что это была конечная цель ее путешествия. Несколько суток она ехала в грязной теплушке или в поезде, в котором и зеленые, и желтые, и синие вагоны были одинаково набиты беженцами, мешочниками, возвращающимися с фронта солдатами. Одна, с младенцем на руках. Куда?

Первое, что приходит на ум – Крым, Судак. Она рвалась в те места, где полтора года назад они с Яковлевым были счастливы: к близкому весеннему теплу, морю, татарской баранине, ранней черешне. Фон этих упований – еще одна из «Александрийских песен» Кузмина с их постоянным упоминанием «запаха вербены» как приметы соблазна:

Вечерний сумрак над теплым морем,
огни маяков на потемневшем небе,
запах вербены при конце пира,
свежее утро после долгих бдений,
прогулка в аллеях весеннего сада,
крики и смех купающихся женщин,
священные павлины у храма Юноны,
продавцы фиалок, гранат и лимонов,
воркуют голуби, светит солнце...

Одно смущает в этой версии – путь в Крым проходил через Курск – Харьков, а не через Екатеринодар. Зато всего в сотне с небольшим верст от столицы Кубани находился Новороссийск. На Балтике продолжалась война, и после того, как в декабре 1916 года было заключено русско-германо-турецкое перемирие на Черном море, морское сообщение с Дальним Востоком велось через Суэцкий канал и черноморские порты. Пароход «Шилка», который через год увезет Тэффи из Новороссийска в Стамбул, пришел сюда из Владивостока и ушел обратно по тому же маршруту.

Напрашивается мысль, что Казароза планировала плыть во Владивосток, чтобы оттуда поездом добираться в Пекин или в ближайший к Пекину портовый Тяньцзинь. Яковлев мог позвать ее с сыном к себе и указал пусть долгий, но наиболее безопасный путь в Китай. Особенно если при ней была крупная сумма денег или драгоценности Софьи Петровны. В Новороссийске тогда начинали селиться беженцы из Петрограда, среди них были жена и дочери Мейерхольда. С кем-то из них Казароза могла списаться заранее, они обещали приютить ее до прибытия парохода или помочь найти квартиру, но проехать дальше Екатеринодара ей не удалось: 22 февраля 1918 года Добровольческая армия Корнилова выступила из Ростова на Кубань. Начался знаменитый «Ледяной поход», и первые недели Гражданской войны задали уровень ее жестокости на годы вперед: Корнилов приказал не брать пленных, объявив, что «ответственность за этот приказ перед Богом и русским народом» он берет на себя, а через месяц его вырытое из могилы и растерзанное толпой тело сожгут, по одним известиям, на костре из железнодорожных шпал, по другим – на городской скотобойне, обложив соломой.

Екатеринодар, к которому двигались добровольцы, оказался на осадном положении. В окрестностях шли бои, поезда не ходили. Казароза прочно застряла в городе. Она предполагала, что какое-то время

придется прожить в Екатеринодаре, и перед отъездом предупредила Софью Петровну, родителей, Яковлева, еще кого-то, чтобы писали ей сюда «до востребования». Подыскав жилье, пришла на почту, попросила выдать адресованную ей корреспонденцию и назвала сразу все три своих фамилии – театральную, девичью и по мужу.

Это была ее ошибка. В охваченном шпиономанией осажденном городе человек с тремя фамилиями казался фигурой подозрительной, к тому же одно письмо, как она сама говорила, было «с китайской маркой». Почтовые служащие донесли в ЧК, ее арестовали, а то, как она повела себя на допросе, и «путаница с документами» вызвали еще большие подозрения. В результате ее посадили в тюрьму вместе с сыном. Оставить его ей было не на кого.

Обращались с ней хорошо. Для порядка угрожали расстрелом, тем не менее предложили вызвать из Петрограда родственников, могущих удостоверить ее личность. Имя своего спасителя она не называла, но скорее всего им стал двоюродный брат Владимир Шеншев, служивший в Наркомате иностранных дел. Должно быть, чекисты связались с ним по телеграфу, однако поезда не ходили, приехать он смог лишь в начале апреля, когда после неудачного штурма Екатеринодара и гибели Корнилова добровольцы ушли на Дон.

Казароза ненадолго вернулась в Петроград, а затем с сыном уехала в Москву. Здесь тогда жил недавно вернувшийся с фронта Сергей Ауслендер, ему она и поведала свою одиссею – его очерк «Розовый домик. Страницы из дневника» появился в московской газете «Жизнь»*.

Через десять лет, редактируя его для сборника воспоминаний о Казарозе, он благообразно заменил арестовавших ее красных на белых, вычеркнул упоминание о Екатеринодаре, где весной 1918 года никаких белых не было, и уклончиво обозначил место действия как «где-то на юге».

Казароза сама разыскала Ауслендера в Москве, хотя они никогда не были особенно дружны. Писать в газете о причине ее внезапного к нему интереса он не захотел, хотя и упомянул, что она советовалась с ним относительно поездки в Китай, к мужу. Почему с ним?

Скоро Ауслендер окажется в Омске, у Колчака, но уже тогда от общих знакомых Казароза могла узнать, что новая власть ему не нравится, он собирается в Сибирь, где ожидаются большие перемены. Похоже, она думала напроститься к нему в попутчицы и проехать с ним часть пути до Владивостока.

Телефон Ауслендера ей дала будущий комиссар Волжской флотилии Лариса Рейснер. Люди их круга, будучи политическими врагами, до последнего старались не рвать личных отношений. Казароза позвонила старому знакомому, напомнила, как они встретились в Москве, когда она с Тэффи приезжала в театр Незлобина на премьеру «Короля Дагобера», и как он в кафе угощал ее сладкими пирожками, сказала, что вышла замуж, у нее сын, который «еще ничего не говорит, такой игрушечный», и позвала в гости. Ауслендер спросил адрес, она засмеялась: «Адреса не знаю, в Москве такие смешные улицы. Кажется, Ситцевый Овражек. Посмотрите по телефонной книге адрес Перепеловых».

Он посмотрел и на другой день в назначенный час явился на Сивцев Вражек. Казарозы дома не оказалось. Нянька сказала, что ему велено подождать, хозяйка скоро вернется.

* № 6 от 28 (15) апреля 1918 г.

Дальше – так:

Вхожу в комнату, по случаю уплотнения принявшую неопределенный вид – не то гостиная, не то столовая, а впрочем, стоит детская кроватка (позже Ауслендер уточнит, что это была поставленная на два стула большая корзина. – Л. Ю.). Заглядываю в нее – спит толстячок. Видимо, это и есть игрушечный сын Казарозы. Сажу тихо, чтобы не разбудить его. Осматриваюсь. Комната чужая, случайная, но есть несколько вещичек: книжка стихов в цветном матерчатом переплете, картинка – коричневое лицо на яростно-желтом фоне (неизвестно, кого здесь нарисовал Яковлев, но узнается его любимая сангина. – Л. Ю.), забытая на столе камешка с черной фигуркой говорят о жизни той, прошлой, а рядом уже признаки настоящего – резиновая куколка, две книги какого-то профессора о воспитании детей дошкольного возраста. Казароза учится воспитывать своего Чико – нянька сказала, что зовут его Шурик, прозвище Чико.

Наконец он просыпается. После сна мое присутствие встречает с неудовольствием, пробует даже зареветь, но сменяет гнев на милость и, когда нянька уходит за молоком, благосклонно доверяет свою особу моему попечению. Мы развлекаемся как можем – разыгрываем какую-то эфиопскую гамму на пианино, смотримся в ручное, с извилистой ручкой, зеркало, оказываем внимание телефону. Чико уже смеется, горделиво показывая свои шесть зубов.

И вот будто вихрь пронесется – хлопают двери, появляется временная хозяйка этой комнаты, все такая же невероятно маленькая, быстрая в словах и движениях, в каком-то желтеньком колпачке, не то негретенка с островов Таити, не то лукавый гамэн с парижских бульваров. Из льющихся безудержным потоком слов, прерываемых то вопросом, как достать продовольственные карточки, то восклицанием об изумительных платках, выставленных на Кузнецком, то поцелуями Чико, вырисовывается постепенно ход событий...

После рассказа о ее екатеринодарских приключениях Ауслендер переходит к собственным чувствам:

Смотрю на эту маленькую, на вид такую хрупкую женщину времен великой русской революции и думаю: откуда у нее такая беззаботность, выносливость ко всем грубостям жестокой нашей жизни, откуда такая цепкость к жизни в этих смуглых пальчиках? Не знаю, улыбаться или плакать, так улыбочиво-радостна вся эта милая чепуха, так трогательна.

Как во время великого потопа поплыли наши дома, пуховые подушки, тяжелые книжные шкафы. А многое пошло ко дну, погибло, и сами мы на утлых челноках уже не пытаемся бороться со стихией, карающей нас за далекие грехи наших прадедов, и только удивляемся, когда в этом водовороте случайно встречаем друга или просто знакомого: «А, вы еще тоже живы!»

Среди обломков нашего благополучия всплыл розовый домик наших романтических мечтаний и стремлений к экзотике. Розовый домик – легкий, воздушный, его потопить труднее, чем тяжелую баржу со съестными припасами, и если когда-нибудь историку наших дней попадутся безыскусственные страницы моего дневника, он еще раз отметит, какая необычайно-странная была жизнь в эти беспримерно яростные, грозные дни.

Казароза уложила сына спать и, баюкая его, вместо колыбельной спела ему одну из «Александрийских песен» Кузмина, тоже очень подходящую к очередному моменту ее жизни:

Адониса Киприда ищет –
по берегу моря рыщет,
как львица.

Киприда богиня утомилась –
у моря спать она ложилась...

Через десять лет, уже после ее смерти, Ауслендер припомнит другой свой визит на Сивцев Вражек:

Побледневшая, тихая, Бэлочка сказала «болен» и повела меня к кроватке. Ребенок лежал с завязанными глазами, у побелевших губ пызырьки пены. При мне же пришел доктор. Он, покашливая, долго писал рецепт, потом давал, отводя глаза в сторону, наставления растеряной Бэлочке. Она не плакала, не умоляла, не задавала лишних вопросов. Деловито отсчитывала на пальцах: «Припарки, через час капли, вечером микстуру, вызвать сиделку, если будет совсем плохо» – на секунду поперхнулась, но тут же оправилась – «впрыскивать, да, я умею, только вот шприц достать». Доктор взглянул на нее удивленно, но не сказал ни слова бесполезных утешений, только с какой-то особой теплотой пожал ей руку. Она неслышно ходила по комнате, давала распоряжения заплаканной няньке, разжигала примус. Тогда она выходила мальчика...

Чико поправился, но момент был упущен – в мае 1918 года восстал Чехословацкий корпус, на Урале и в Сибири тоже начиналась Гражданская война. Пытаться проехать в Китай, да еще со слабым после болезни годовалым ребенком, Казароза не рискнула.

Той же осенью Тэффи из Петрограда приехала в Москву. Здесь она встретила Казарозу, еще неуспешную вернуться домой, и через десять лет, в Париже, написала о своей «таитянке» в «Воспоминаниях»:

В эти памятные дни в ней неожиданно проявилась странная способность: она знала, что у кого есть и кому что нужно. Приходила, смотрела черными вдохновенными глазами куда-то в пространство и говорила:

– В Кривоарбатском переулке, на углу, в суровской лавке, осталось еще полтора аршина батиста. Вам непременно нужно его купить.

– Да мне не нужно.

– Нет, нужно. Через месяц, когда вы вернетесь, уж нигде ничего не останется.

В другой раз прибежала запыхавшаяся:

– Вам нужно сейчас же сшить бархатное платье!

– ?

– Вы сами знаете, что это вам необходимо. На углу, в москательной, хозяйка продает кусок занавески. Только что содрала, совсем свежая, прямо с гвоздями. Выйдет чудесное вечернее платье. Вам необходимо. А такой случай уж никогда не представится.

Лицо серьезное, почти трагическое.

Ужасно не люблю слово «никогда». Если бы мне сказали, что у меня, например, никогда не будет болеть голова, я б и то, наверное, испугалась.

Покорилась Казарозе, купила роскошный лоскут с семью гвоздями.

3

В июле 1918 года большевики закрыли все буржуазные газеты. Закончила свое недолгое существование и «Жизнь», в редакции которой служил Ауслендер. В августе он перешел линию фронта под Казанью и очутился на территории, подконтрольной эсеро-меньшевистскому правительству КОМУЧа (Комитет членов Учредительного собрания), с Волги заехал в Семипалатинск, где жила его мать, сестра Кузмина, затем обосновался в Омске – заведовал литературным и театральным отделом в кадетской «Сибирской речи». Здесь из-под его пера вышла и была

издана 100-тысячным тиражом самая известная на Востоке России пропагандистская брошюра «Верховный правитель адмирал А.В. Колчак».

Не только журналист, но писатель, автор шести книг прозы, Ауслендер знал силу остановленного мгновения. Лирический репортаж о встрече с Казарозой он представил как «страницы из дневника», хотя вряд ли такой дневник существовал, и биографию Колчака тоже начал со своей якобы дневниковой записи о первой с ним встрече:

Когда легкой, но какой-то особой, точной, походкой он прошел по унылому коридору Ставки Верховного Главнокомандующего, слегка наклонившись к листку телеграммы, которую читал, кто-то сказал: «Вот Адмирал». И в ту же секунду, когда я увидел этот острый, четкий, тонко вырезанный профиль, у меня явилась мысль: почему так знакомо это лицо, где я видел этот гордый, с горбинкой, нос, этот твердый овал бритого подбородка, эти тонкие губы, эти глаза, то вспыхивающие, то потухающие под тяжелыми веками. Да, на римских камнях (у Казарозы на столе Ауслендер тоже заметил «камею». – Л. Ю.) искусный художник запечатлевал образ воина и героя, черты человека, выдавшего смерть совсем близко, познавшего радость победы и горечь поражений, выдавшего и далекие страны, и пышные триумфы, и ужасные картины беспощадной битвы, умудренного суровой мудростью, неустанного мечтателя и закаленного бойца.

В 1990-х на букинистическом аукционе «Независимой газеты» всплыл Тит Лукреций Кар, «О природе вещей», с экслибрисом Колчака. Наверняка это была не единственная в его библиотеке книга античного автора. Обращение к образам Древнего Рима в связи с ним самим ему, должно быть, импонировало, но под пером Ауслендера адмирал с его опытом противостояния морской стихии, применяемым теперь в борьбе со стихией революции, делается похож не столько на римского полководца или проконсула, сколько на романтических капитанов Гумилева, с которым автор вместе работал в редакции «Аполлона»:

Пусть безумствует море и хлещет,
Гребни волн поднялись в небеса,
Ни один пред грозой не трепещет,
Ни один не свернет паруса.

В той и другой ипостаси герой брошюры мало напоминал себя настоящего. Нервный, подверженный депрессии, сильно зависимый от окружения, бросающийся из крайности в крайность, по характеру он совершенно не подходил на роль диктатора, Колчак был в Сибири таким же чужаком, как его петербургский апологет, ценитель Мейерхольда и песенок Кузмина в исполнении Казарозы.

Ауслендер сопровождал Колчака в поездках на фронт и в турне по сибирским и уральским городам. Говорили, будто он писал ему речи для публичных выступлений, но скорее всего адмирал просто использовал в своих речах некоторые формулировки из его газетных статей. Самые яркие из них две – о диктатуре как учреждении сугубо республиканском и о том, что он принял власть не из честолюбия, а «как Крест».

Один из тех, кто ездил с Ауслендером в адмиральском поезде, описал его как «изможденного, чуть горбившегося, державшего папиросу в длинных пальцах, похожих на пальцы наркомана, с болезненной и ласковой улыбкой, с тихой поступью и тихим голосом человека, проходившего сквозь строй страшной эпохи бледной тенью»*. При всем

* Лев Арнольдov (1894–1946), товарищ министра в правительстве Колчака, ки-таист, редактор эмигрантской газеты «Шанхайская заря».

том он не побоялся в колчаковской столице 1919 года прочесть на литературном вечере «Двенадцать» Блока.

Ауслендер входил во фронтовую группу журналистов и покинул Омск, когда в него уже входили части 5-й армии. Вместе с публицистом Всеволодом Н. Ивановым они на пролетке успели проскочить по мосту через Иртыш в последние минуты перед тем, как мост был взорван. До Томска он добрался с обмороженными ногами, ходить не мог, поэтому не уехал в Забайкалье, к атаману Семенову, и далее в Китай, где имел бы шанс встретиться с Яковлевым, а затаился на нелегальной квартире.

Скрывавшийся в Омске редактор «Сибирской речи» Валентин Жардецкий в конце концов был схвачен и убит, но Ауслендер сумел избежать его участи. Вылечив ноги, он сам изготовил себе фальшивый документ на имя некоего Гришина и под этой фамилией устроился воспитателем в школу-коммуна, как тогда назывались многочисленные в эпоху беспризорничества детские дома, в отдаленном селе Томской губернии. Ни мать и сестры, ни Кузмин, ни тем более Казароза ничего о нем не знали и считали его погибшим.

Мейерхольд в это время тоже прошел на волосок от смерти.

Он без колебаний поддержал большевиков, в 1918 году вступил в РКП(б), возглавил театральный отдел Наркомпроса и, в частности, нашел критерий, по которому следует оценивать работу режиссера: если спектакль действительно революционный, он должен расколоть зрительный зал на две враждебные части и вызвать между ними ту же классовую борьбу, какая идет сейчас по всей стране. Этот экстравагантный тезис – вариант его давнишней идеи о необходимости стереть границу между жизнью и сценой, заставить зрителей участвовать в спектакле наравне с актерами, но, будучи перенесена в политику, она позволяла считать пролитую кровь клюквенным соком и кормить голодных хлебами из папье-маше. Не говоря уж о том, что выдвинутый им тезис можно рассматривать как провокацию с целью выявить в публике скрытых контрреволюционеров. По ходу этих игрищ оффенбаховский доктор Дапертутто, похититель отражений, превратился в своего куда более зловещего гофмановского прародителя, способного взглядом отворить вену на чужой руке. Подобные заявления не прошли ему даром.

Недолгий триумф советской власти в Крыму в мае 1919 года подавался в советских газетах как окончательный и бесповоротный, и Мейерхольд со спокойной душой поехал в Ялту лечить открывшийся у него ревматизм плечевого сустава. Никто из его соратников не предвидел, что в ближайшие месяцы Вооруженные силы Юга России (ВСЮР) под командованием Деникина займут Северный Кавказ, почти всю Украину и начнут наступление на Москву.

Пока он грел на пляже большое плечо, деникинцы в считанные дни захватили Крым. На рыбацкой фелюге ему удалось переправиться в Новороссийск, где давно жила с мужем его старшая дочь, а жена с двумя младшими у нее гостили, но белые пришли и туда. Мейерхольд старался не привлекать к себе внимания, но постоянно сидеть дома не мог, и однажды его узнал на улице бежавший из Петрограда адвокат и драматург Бобрищев-Пушкин, чью патристическую композицию «Торжество держав» он в 1914 году поставил в Мариинском театре. Возмущенный Бобрищев-Пушкин через городскую газету задал военному коменданту риторический вопрос: «Что думают власти об охране населения от большевистской заразы, когда по нашим улицам свободно

разгуливает большевистский эмиссар, небезызвестный левый режиссер Всеволод Мейерхольд?»

Советские мейерхольдоведы называли Бобрищева-Пушкина «махровым реакционером» и «монархистом», хотя его отец защищал на судебных процессах революционеров-народников, а сам он – типичный либерал, расследовал обстоятельства керченского погрома 1907 года, активно поддерживал Бейлиса как жертву государственного антисемитизма.

Мейерхольда посадили в тюрьму, мягкость режима которой он сможет оценить через двадцать лет, когда окажется на Лубянке. В камере он ставил с товарищами по несчастью сцены из «Бориса Годунова», начальник тюрьмы получил от него список книг, нужных ему для работы над задуманной статьей по теории театра, а через полтора месяца, стараниями городской интеллигенции, его и вовсе выпустили на поруки под денежный залог, правда, с предписанием ежедневно отмечаться в городской комендатуре. Местные власти не знали, что с ним делать, следственное дело отослали в Ростов, в штаб ВСЮР, и там Деникин собственноручно наложил на него резолюцию: «Судить». Фактически это предreshало смертный приговор, но и теперь Мейерхольда не арестовали, позволив ему жить в доме у дочери и зятя. По совету добрых людей он подал на имя Деникина прошение о том, чтобы его дело рассматривалось не новороссийским военно-полевым судом, о котором известно было, что он «свирепствует», а ростовским, более мягким. Похлопотать об этом Мейерхольд просил жившего тогда в Ростове композитора Михаила Гнесина, но если были другие ходатаи, среди них мог оказаться Зноско-Боровский, тоже временный ростовчанин. Автор «Обращенного принца» вступил в Добровольческую армию еще в то время, когда Казароза сидела в екатеринодарской тюрьме, но в боях не участвовал, служил в ОСВАГе*, писал статьи для влиятельного донского еженедельника «Радуга».

Ответа на прошение не последовало. Красная Армия приближалась к Ростову, деникинским следователям стало не до Мейерхольда. На всякий случай он жил не с семьей, а у друзей, потом – в каком-то, по свидетельству его племянника, «красно-зеленом» партизанском отряде и вернулся в город уже после «новороссийской катастрофы». У белых не хватило пароходов, чтобы эвакуировать армию в Крым, сотни людей погибли в давке у причалов, десятки покончили с собой. Тысячи казаков и солдат вынуждены были сдать красным.

Двумя годами раньше Наркомпрос в лице Мейерхольда выпустил воззвание к театральным деятелям Советской России. «Форма массового театра, – провозглашалось в нем, – не придуманная форма, а органическая потребность, лежащая глубоко в сознании масс. Об этом свидетельствуют библейские празднества, западноевропейские карнавалы, народные хороводы и игры, праздники Великой Французской революции, многочисленные шествия ликующей толпы. Только благодаря гнету правящих каст, эта потребность не могла проявиться в тех грандиозных формах, которые возможны в условиях освобожденной рабочим классом жизни».

В реальности эти «грандиозные формы» театра масс быстро превратились в тяготеющие к военному параду постановочные акции. Мейер-

* Осведомительное агентство – информационно-пропагандистский орган ВСЮР.

хольд отлично понимал, что от него требуется, когда в Новороссийске ему поручили организовать «художественную часть» праздника 1 Мая и выделили для этого девять автомобилей. Он превратил их в сценические площадки, на которых артисты-любители изображали важнейшие, с точки зрения победителей в Гражданской войне, события мировой истории, но число узловых точек исторического процесса было ограничено количеством имеющихся в его распоряжении грузовиков. После митинга, декорированные кумачом, под гром духового оркестра, они вереницей выехали из ворот городского сада и медленно покатали по центральной улице Советов, бывшей Серебряковской.

Сохранился краткий сценарий этого действа:

Автомобиль № 1. Французская революция 1789 года. Артисты показывают сцены выборов в постоянный комитет городского самоуправления Парижа.

Автомобиль № 2. Французская революция 1848 года. Артисты представляют буржуазных революционеров-демократов и рабочий класс – участников буржуазно-демократической революции во Франции.

Автомобиль № 3. Парижская коммуна 1871 года. Артисты представляют правительство рабочего класса Парижа.

Автомобиль № 4. Русская революция 1905 года. Артисты показывают первые Советы рабочих депутатов и участников Новороссийской республики.

Автомобиль № 5. Мартовская революция 1917 года. Артисты представляют массы трудового народа, свергшие самодержавие. На плакатах надписи: «Долой царя!», «Долой войну!»

Автомобиль № 6. Октябрьская революция 1917 года. Артисты представляют рабочий класс, беднейшее крестьянство, под руководством большевиков пришедших к победе Великой Октябрьской социалистической революции.

Автомобиль № 7. Зеленая армия. Артисты представляют красных партизан.

Автомобиль № 8. Красная Армия и пролетарии России за работой. Артисты представляют красноармейцев, военачальников, рабочих, крестьян.

Автомобиль № 9. III Коммунистический Интернационал. Артисты изображают представителей коммунистических партий разных стран, объединенных под руководством В.И. Ленина в III Коммунистический Интернационал.

Если, как можно допустить, в столицы доходили противоречивые известия о поведении Мейерхольда в тылу у белых, то своей агитационно-просветительской деятельностью в Новороссийске он себя реабилитировал. В конце лета Луначарский вызвал его в Москву.

4

В ноябре или декабре 1918 года полуторагодовалый Чико умер от той же болезни, которой он весной болел в Москве. Что это была за болезнь, Ауслендер не пишет, но в другое время, при другом питании, в квартире с дровами или теплыми радиаторами и наличии необходимых лекарств она могла бы и не оказаться смертельной. Казароза и мать Яковлева, помогавшая ей ухаживать за мальчиком, не сумели выводить сына и внука.

Похоронили его, видимо, на ближайшем к дому Смоленском кладбище. Кто-то из друзей Яковлева сделал для Казарозы слепок с ручки мертвого мальчика. Эта крошечная гипсовая ручка всегда будет лежать у нее на письменном столе, и всю оставшуюся жизнь, даже после того, как переедет в Москву, в апреле, в день рождения сына, она будет приходить к нему на могилу.

Как заметил Ауслендер, в ее комнате на Сивцевом Вражке «даже некоторая беспорядочность носила приятный, грациозный отпечаток». А когда поэтесса Анна Радлова пришла к ней вскоре после похорон, квартира на Васильевском острове показалась ей «холодной и неубранной», а хозяйка – «совсем потухшей, окоченевшей от боли».

Тогда же Радлова посвятила ей стихи:

Глаза устали в даль смотреть
И смотрят только в вышину,
Уста забыли песни петь
И любят только тишину.
Смертелен воздух снежных гор,
А небо – голубой шатер.
Там стынет медленная кровь,
Нема печаль, тиха любовь.

И еще в одном стихотворении Радловой, помеченном тем же январем 1919 года, присутствуют заглушаемый ветром «ясный голос» и «мертвое сердце» ее подруги:

Средь горящих, летящих зданий
Черный воздух, как черная сталь,
Сумасшедшее сердце восстаний
Старинную гонит печаль.
И летит разорванной тучей
В пьяную ветром ночь
Голос, ясный, простой и певучий –
Ветер, ветер, тебя ль перевозмочь?
Когда схлынет, сгинет погоня
И зарей расцветет благодать,
На твоей горячей ладони
Будет мертвое сердце лежать.

Девичья фамилия Радловой – Дармалатова, семья была дворянской, но не то со старообрядческими, не то с сектантскими корнями. Радлова увлекалась мистическими кружками при Александре I, написала повесть об основателе скопчества Кондратии Селиванове и в гуле разбуженной большевиками народной стихии хотела слышать вырвавшиеся «из плена шарманки, слезливых глаз и блудливых сердец» голоса воскресших врагов земного Рима – Гракха и Ганнибала:

Старая земля, новый колос.
Старые слова, новый голос...

Увлечься такими идеями Казароза не могла, но ей тогда важно было любое дружеское участие. Радловой покровительствовал Кузмин, в пику Ахматовой объявивший ее «королевой русской поэзии», в разгоревшейся войне Казароза предала свой поэтический вкус и держала сторону друзей, а не литературной справедливости. Ничего, кроме дружбы, у нее не осталось. Со смертью сына завершилась ее карьера певицы, а выступать на эстраде с испано-цыганским танцем она перестала еще раньше.

Гражданская война, прежде гремевшая где-то далеко на юге и на востоке, внезапно приблизилась к Петрограду: весной 1919 года Юденич начал первое наступление на обезлюдивший город. В тылу красных восстал гарнизон форта Красная Горка, верные большевикам эсминцы открыли по нему артиллерийский огонь, при этом под обстрел угодило

соседнее Лебяжье, где позапрошлым летом Казароза с сыном жила на даче.

В ночь на 11 июня взорвался или, скорее, был взорван диверсантами склад морских мин на форте «Павел» – самом мощном из кронштадтских фортов. Блок записал в дневнике: «Из Кронштадта утром шел бурый дым, последствие взрыва сегодняшней ночи: в 2 часа дом наш потрясся; на улице был ветер, в море, вероятно, шторм. И, однако, черное рогатое облако, поднявшееся в стороне Кронштадта, долго не расходилось – так тяжел этот черный дым, что ли?»

Чтобы обезопасить Северо-Западную армию Юденича от десантов с моря, английские аэропланы стали бомбить корабли красного Балтфлота на кронштадтском рейде. Легчики нередко ошибались, бомбы падали во дворах и на улицах. Во многих домах были выбиты оконные стекла.

С продовольствием в Кронштадте обстояло еще хуже, чем в Петрограде, а соседство многотысячной массы не отличавшихся дисциплинированностью революционных матросов было чревато неприятностями даже для тех, кто не помышлял о борьбе с новой властью. По городу прокатывались сменявшие одна другую волны арестов. Первыми стали уезжать финны, латыши, эстонцы, которые тут всегда составляли значительную часть населения, за ними – русские семьи. Приезжие из Петрограда поражались тишине и безлюдью даже на центральных улицах.

Магазин Шеншевых закрылся, товар реквизировали для советских учреждений. Изменений к лучшему не предвиделось, и в конце лета 1919 года Георгий Лазаревич, Софья Яковлевна и их старшая дочь Ирина с мужем и двумя дочерьми перебрались на жительство в Либаву, которая со времен Александра III была второй по значению после Кронштадта базой Балтийского флота, а через год станет латвийской Лиепайей. Назад они уже не вернутся.